

Борис Васильев

Летят мои кони...



Часть сборника
В списках не значился (сборник)



Борис Львович Васильев

Летят мои кони...

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=2553645

*Васильев, Б.Л. / Летят мои кони... (авторский сборник): АСТ, Астрель; Москва; 2010
ISBN 978-5-17-064479-7, 978-5-271-26447-4*

Аннотация

«Еще размашисто рысят кони, еще жив праздник в душе моей, еще кружится голова от вчерашнего хмеля, и недопетая песня готова сорваться в белесое от седины небо. Еще не остыли на губах ворованные поцелуи случайных женщин, любивших любовь больше, чем меня, и тем самым вложивших свой камень в котомку моей усталости. Еще хочется пробежаться босиком, поваляться на траве, нырнуть с обрыва в незнакомый омут. Еще так трудно оторвать взгляд от женских ног, еще пытаешься казаться умнее, еще мечтается перед сном и хочется петь по утрам. Еще не утолена вся жажда, еще веришь в себя и еще ничего не болит, кроме сердца...»

Борис Васильев

Летят мои кони...

«Я, Васильев Борис Львович, родился 21 мая 1924 года в семье командира Красной армии в городе Смоленске на Покровской горе...»

А сейчас я еду с ярмарки.

Еще размашисто рысят кони, еще жив праздник в душе моей, еще кружится голова от вчерашнего хмеля, и недопетая песня готова сорваться в белесое от седины небо. Еще не остыли на губах ворованные поцелуи случайных женщин, любивших любовь больше, чем меня, и тем самым вложивших свой камень в котомку моей усталости. Еще хочется пробежаться босиком, поваляться на траве, нырнуть с обрыва в незнакомый омут. Еще так трудно оторвать взгляд от женских ног, еще пытаешься казаться умнее, еще мечтается перед сном и хочется петь по утрам. Еще не утолена вся жажда, еще веришь в себя и еще ничего не болит, кроме сердца.

И все же я еду с ярмарки, а это значит, что между моими желаниями и моими возможностями, между «хочу» и «могу», между «еще» и «уже» начала вырастать стена. И каждый прожитый день добавляет в эту стену свой аккуратный кирпичик. Я еще хочу бежать вслед за уходящим поездом, но уже не могу его догнать и рискую остаться один на гулком пустом перроне.

Чувства притупляются, как боевые клинки: о них уже не обрежешься, не вздрогнешь вдруг от запаха первого снега, от цвета свежей смолы, от стука вальков на реке. Уже не слышно тишины и не видно тьмы, уже позади все, что случилось впервые, и порой уже кажется, что на свете не осталось ничего нового, кроме смеха и солнца, дождя и слез, мороза и птичьего гомона. Уже знаешь, что ждет за поворотом, потому что потерял им счет, но сердцу не прикажешь, и оно снова и снова замирает в груди, и ты упрямо надеешься успеть понять, додумать, написать. Но уже ничего не вернешь, и неразгаданные мысли, ненаписанные романы и не встреченные встречи, что призрачным роем еще выются вокруг, уже для других.

Я еду с ярмарки, кое-что купив и кое-что продав, что-то найдя, а что-то потеряв; я не знаю, в барышах я или внакладе, но бричка моя не скрипит под грузом антикварной рухляди. Все, что я везу, уместается в моем сердце, и мне легко. Я не успел поумнеть, торопясь на ярмарку, и не жалею об этом, возвращаясь с нее; многократно обжигаясь на молоке, я так и не научился дуть на воду, и это переполняет меня безгрешным гусарским самодовольством. Так пусть же неспешно рысят мои кони, а я буду лежать на спине, закинув руки за голову, смотреть на далекие звезды и ощупывать свою жизнь, ища в ней вывихи и переломы, старые ссадины и свежие синяки, затянувшиеся шрамы и незаживающие язвы.

Мне сказочно повезло: я увидел свет в городе Смоленске. Повезло не потому, что он несказанно красив и эпически древен – есть множество городов и красивее, и древнее его, – повезло потому, что Смоленск моего детства еще оставался городом-плотом, на котором искали спасения тысячи терпящих бедствие. И я рос среди людей, плывущих на плоту.

Город превращают в плот история с географией. Географически Смоленск – в глубокой древности столица могущественного племени славян-кривичей – расположен на Днепре, вечной границе между Русью и Литвой, между Московским великим княжеством и Речью Посполитой, между Востоком и Западом, Севером и Югом, между Правом и Бесправием, наконец, потому что именно здесь пролегла пресловутая черта оседлости. История раскачивала народы и государства, и людские волны, накатываясь на вечно пограничный Смоленск,

разбивались о его стены, оседая в виде польских кварталов, латышских улиц, татарских пригородов, немецких концов и еврейских слободок. И все это разноязыкое, разнообразное и разноукладное население лепилось подле крепости, возведенной Федором Конем еще при царе Борисе, и объединялось в единой формуле: ЖИТЕЛЬ ГОРОДА СМОЛЕНСКА. Здесь победители роднились с побежденными, а пленные находили утешение у вдов; здесь вчерашние господа превращались в сегодняшних слуг, чтобы завтра дружно и упорно отбиваться от общего врага; здесь был край Ойкумены Запада и начало ее для Востока; здесь искали убежища еретики всех религий, и сюда же стремились бедовые москвичи, тверяки и ярославцы, дабы избежать гнева сильных мира сего. И каждый тащил свои пожитки, если под пожитками понимать национальные обычаи, семейные традиции и фамильные привычки. И Смоленск был плотом, и я плыл на этом плоту среди пожитков моих разноплеменных земляков через собственное детство.

...Я вижу нашу комнату в домике на Покровской горе: тогда она казалась мне огромной, потому что свет керосиновой лампы не в силах был растопить темень в ее углах. Я сижу за столом, и мой подбородок упирается в книгу. Бабушка только что научила меня читать (подозреваю, чтобы я ей не мешал), и я громко читаю, а за столом чинно пьют чай старые женщины. На столе – колючий колотый сахар, черный хлеб и бабушкино печенье из ржаной муки, и хотя в стране нэп и лавки ломятся от товаров, у сидящих за столом нет денег на эти товары.

– Ай, какой хороший мальчик! – худая, коричневая от бесконечных стирок рука ласково гладит меня по голове. – Нет, вы только послушайте, как громко он читает!

– Пусть мадам Мойшес не обижается, но нельзя же каркать в ухо русскому ребенку, – строго говорит рыхлая белесая дама. – Он научится картавить раньше, чем петь свои детские песенки.

– Ай, пани Ковальска, вы стали специалисткой по-русски? Так с вас же он всю жизнь будет говорить «койбаса» и «уошадь». Ну скажите мне, мадам Урлауб, разве я говорю неправду?

– Мадам Алексеева – артистка, она была в Париже и за границей, и она все объяснит, – решает третья гостья.

– Не так важно, как говорить, а важно, что говорить, – вступает бабушка, и все вежливо перестают пить чай. – А люди делятся только на мужчин и женщин, и если ты родился мужчиной, то будь им, а если женщиной, то тем более.

А я громко читаю, еще не ведая, что плыву на плоту и что люди делятся не на русских, поляков, евреев или литовцев, а на тех, на кого можно положиться и на кого положиться нельзя. Это проверенное деление: плот только-только оправился от урагана, имя которому «Гражданская война», и его пассажиры очень хорошо знают, что значит всегда быть настоящим мужчиной, ну а женщиной – тем более.

...Я люблю тебя, старый Смоленск, ибо ты – колыбель детства моего. Ныне от тебя остались осколки, как от греческих амфор, а еще проще – как от моего детства. Твоя крепость выдержала пять осад, но она не могла выдержать ни последней войны, ни лихорадочного послевоенного строительства. И если знаменитые Молоховские ворота взорваны давно, то твоя еще более знаменитая Варяжская улица – твоя благородная седина, знак твоей древности – переименована в Краснофлотскую совсем недавно, а в десятке шагов от рвов бывшего Королевского бастиона, где когда-то насмерть стояли твои жители во главе с воеводой Михаилом Шейным, построен танцевальный зал...

Нет, не танцзалом запомнилось мне детство, а Храмом. Двери этого Храма были распахнуты во все стороны, и никто не стремился узнать имя твоего бога и адрес твоего испо-

ведника, а назывался он Добром. И детство, и город были насыщены Добром, и я не знаю, что было вместилищем этого Добра – детство или Смоленск.

– Эй, ребяташки, донесите-ка бабушке кошелку до дома!

Так мог сказать – и говорил! – любой прохожий любым ребятам, игравшим на горбатых смоленских улицах. Прохожий мог быть русским или эстонцем, поляком или татарин, цыганом или греком, а старушка – тем более: это было нормой. Помощь была нормой, ибо жизнь была неласкова. Конечно, помощь – простейшая форма Добра, но любой подъем начинается с первого шага.

Мы снимали домик на Покровской горе; в нем я родился, почтовый адрес его тогда писался так: «Покровская гора, дом Павловых». Напротив, через овраг, почти осенняя домик ветвями, рос огромный дуб. Сегодня такое дерево непременно обнесли бы оградой и снабдили табличкой «ОХРАНЯЕТСЯ ГОСУДАРСТВОМ», но дуб не дожил до наших дней: в войну его спилили немцы. Не знаю, уцелел ли пень, – я не хочу видеть останков прекрасного, потому что помню это прекрасное живым. Это с него упал Метек Ковальский и сломал руку; это с него меня снимал дядя Сергей Иванович; это в его ветвях запуталась Альдона, и это ее спасал Моня Мойшес, и всем тогда было очень смешно. Альдона каким-то образом повисла вниз головой, выставив для обозрения розовые панталончики, и так орала, что сам дуб от хохота вздрагивал до самой макушки. Могучий дуб, под сенью которого мирно уживались русские и поляки, евреи и цыгане, татары и венгры: не по этой ли причине и спилили тебя проклятые наци?

– Боря, когда пойдешь гулять, занеси дяде Янеку соль, скажи тете Фатиме, что я нашла для нее выкройку, и попроси у Матвеевны стакан пшена в долг...

Голос мамы до сей поры звучит в моей душе; стремясь с самого нежного возраста заронить во мне искру ответственности, мама попутно, походя, без громких слов прививала мне великое чувство повседневного бытового интернационализма. И я ел из одного котла с моими друзьями-татарчатами, и тетя Фатима наравне с ними одаривала меня сушеными грушами; венгр дядя Антал разрешал мне торчать за его спиной в кузнице, где легко ворожали молотами цыгане Коля и Саша; Матвеевна поила меня козьим молоком, в Альдону я сразу влюбился и множество раз дрался из-за нее с Реном Педаясом. А еще были старая бабушка Хана и строгая мадам Урлауб, немец дядя Карл и слепой цыган Самойло, доктор Янсен и ломовой извозчик Тойво Лахонен и... Господи, кого только не осеняли твои ветви, старый славянский дуб?!

В шесть лет я расстался с дубом: после очередного переезда в какой-то городишко мы вновь вернулись в Смоленск, но жили уже в центре города, на улице Декабристов. А встретился с ним совсем неожиданно через год – пришел на экскурсию. Первую экскурсию в жизни.

Мою первую учительницу звали... К стыду своему, я не помню, как ее звали, но помню ее. Худошавая, строгая, ровная, безулыбчивая, всегда одетая в темное, из которого ослепительно вырывались белоснежные воротнички и манжеты, она представлялась нам, первоклашкам, очень старой, из прошлого века. И в один из общевыходных она велела собраться у школы, но не всем, а тем, кто хочет «пойти на экскурсию». Я хотел, пришел одним из первых; учительница пересчитала нас, вывела к знаменитым смоленским часам, под которыми назначались все свидания и от которых шло измерение во всех направлениях, и погрузила в маленький, шустрый и звонкий смоленский трамвай. И мы покатали вниз, к Днепру, по Большой Советской. Миновали Соборную гору, выбрались через Пролом из старого Смоленска, переехали по мосту через Днепр и сошли у рынка. И под предводительством первой учительницы переулками, садами и дворами вышли... к дубу.

– Это самый древний житель нашего города, – сказала первая учительница.

Может быть, она сказала не теми словами, сказала не так, но суть заключалась в том, что этот дуб – остаток священной рощи кривичей, которые жили в Гнездово, неподалеку от Смоленска, где и по сей день сохранилось множество их могильных курганов. И что вполне возможно, что Смоленска в те далекие времена еще не существовало, что возник он позднее, когда по Днепру наладилась регулярная торговля, и именно здесь, в сосновых берегах, удобнее всего было смолить суда после длинных и тяжелых волоков. Смолили суда, молились богам в священной роще и плыли дальше из варяг в греки. И постепенно вырос город, в названии которого сохранился не только труд его первых жителей, но и аромат его красных боров.

Я прикоснулся к дубу раньше, чем учительница велела это сделать. Ей-богу, я помню до сей поры его грубую теплоту: теплоту ладоней, пота и крови моих предков, вечно живую теплоту Истории. Тогда я впервые прикоснулся к прошлому, впервые ощутил это прошлое, проникся его величием и стал безмерно богатым. А сейчас с ужасом думаю, каким бы я стал, если бы не встретился со своей первой учительницей, которая видела долг свой не в том, чтобы, нафаршировав детей знаниями, изготовить из них будущих роботов-специалистов, а в том, чтобы воспитать Граждан Отечества своего...

...Много лет спустя на встрече с молодыми учеными в столь же молодом – даже кладбища своего не было, о чем мне с гордостью поведали организаторы встречи, – городе меня спросили, а зачем-де нужна история в век научно-технической революции, то есть в век качественного скачка человечества? Чему может научить современного специалиста отвага давно отшумевших битв и дальновидность давно истлевших правителей? Да и наука ли вообще эта самая История, коли она с легкостью выдает сегодня за черное то, что еще вчера считала белым? Вопросы задавались с технической точностью и продуманностью, аудитория затаенно ждала, как я выкручусь, а я с горечью думал, каким же провидцем оказался бестелесный Козьма Прутков, сказав, что «специалист подобен флюсу». И дело не в том, как я тогда ответил, – дело в том, что я тогда увидел: город без кладбища и людей без прошлого. И понял, что мудрость и ученость разнятся между собой, как нравственность и знание статей Уголовного кодекса.

История не позволяет человеку остаться варваром, даже если он сделался крупнейшим специалистом в области ультрасовременной науки. У нее для этого, по крайней мере, два спасительных аргумента: во-первых, все уже было, а во-вторых, знания не делают человека умнее, несмотря на всю их ослепительную новизну. Некий усредненный современник наш знает сегодня несравненно больше, чем знали образованнейшие люди сто лет назад, но означает ли это, что усредненный современник наш стал умнее Герцена лишь оттого, что его мозг хранит бездну необязательной информации? Так история – я уж не говорю о ее нравственном воздействии – спасает нас от спесивой самоуверенности полужизнства.

История разлита во времени и в пространстве. Извлечь ее из времени могут только знания, а вот ощутить ее дыхание в пространстве можно и не обладая ими. Есть счастливые города, где дышит историей каждый камень, и счастливые камни, сконцентрировавшие в себе историю. Камни Смоленской крепости, кривая Варяжская улица древнего города, само название его, старый дуб на Покровской горе, Гнездовские курганы и воздух Смоленска питали меня историей, и я чувствовал ее и любил, еще не ведая, что это – богиня, а не только наука.

Никольская улица, уже тогда переименованная в улицу Декабристов, упиралась в Никольские ворота крепости. И над этими воротами в выбоине стены лежало ржавое французское ядро. Лежало не музейным экспонатом, не туристским сувениром Суздаля – лежало боевым документом прошлого: так, как упало, и в том месте, где встретила стена выстрел наполеоновского артиллериста.

В городском парке – старом Лопатинском саду моего детства – до войны сохранялись мощные руины средневековой темницы с остатками решеток толщиной в детскую руку. Когда-то в ней томились генеральный судья Сечи Запорожской Василий Кочубей со своим верным Искрой, несчастный царевич Иоанн Антонович – «Железная маска» русской истории, пленные поляки при Екатерине Второй. На каменной плите подоконника неровными буквами выбил свое имя несчастный узник...

...Так я написал, и так было напечатано в журнале «Юность» № 6 за 1982 год. Я получил множество писем, и в одном из них (в письме Владимира Алексеевича Борисюка, тоже смолянина) содержалось любопытное продолжение этого абзаца:

«...на нем (на подоконнике темницы. – Б. В.) было выцарапано: «КАБОГРАЛЛО». Абракадабра?.. Многие ломали головы. Однако кто-то расшифровал (или – знал), оказывается – аббревиатура:

КА – Капитолина

БО – Борис

ГР – Григорий

АЛ – Александр

ЛО – Лопатины – дети губернатора Лопатина, устроителя сада!...»

Вы и сейчас можете погулять по Блонью – так называется сквер в центре города. Блонье... болонье... заболонь... Да, «заболонье», то есть наиболее укрытое место крепости, куда не долетали стрелы штурмующих и где прятались женщины и дети во время осад города.

При впадении Смядыни в Днепр изменник-повар по повелению Святополка Окаянного зарезал юного князя Муромского Глеба, брата Бориса. Оба брата стали первыми русскими святыми, а Смядынь – это окраина Смоленска.

Как-то еще в школе я составил список знаменитых своих земляков, ставших украшением русской истории. Не буду приводить его полностью, но хочу напомнить, что Твардовский и Тухачевский, Глинка и Пржевальский, князь Потемкин и адмирал Нахимов, Исаковский и Коненков – смоляне.

В июне 1936 года городские власти решили осушить остатки крепостного рва подле Молоховских ворот. Тогда это была огромная гниющая лужа; когда спустили воду и осела муть, полутораметровый слой вонючего ила оказался битком набитым холодным и огнестрельным оружием. Здесь перемешались все эпохи, и рядом с татарской саблей мирно сосуществовал палаш начала века, а пулеметная лента лежала подле дуэльного пистолета. Чудо объяснялось просто: донная грязь сохранила не только оружие некогда штурмовавших крепость воинов, но и то, которое бросали в топь темными ночами Гражданской войны, не желая сдавать властям.

Первыми о кладе, естественно, узнали мальчишки. Оружейный Клондайк ожил: десятки невероятно грязных Томов Сойеров искали свое сокровище. Нас кусали какие-то зловредные жуки, к нам присасывались пиявки, но оторвать нас от поисков было невозможно, пока за это дело не взялась милиция, а случилось это лишь на третий день. Мне досталась русская бердана без приклада, австрийский штык, сломанная офицерская сабля, почти целая пулеметная лента и великое множество самых разнообразных патронов – для винтовок, револьверов, пистолетов. Другим повезло, кому больше, кому меньше, – не в этом дело. Важно, что мы сами производили раскопки, отчетливо ощущая не денежную, а неуловимую историческую ценность находок. И это тоже было прекрасным уроком истории.

...Человек живет для себя только в детстве. Только в детстве он счастлив своим счастьем и сыт, набив собственный животик. Только в детстве он беспредельно искренен и беспредельно свободен. Только в детстве все гениальны и все красивы, все естественны, как природа, и, как природа, лишены тревог. Все – только в детстве, и поэтому мы так тянемся к нему, постарев, даже если оно было жестким, как солдатская шинель.

– Нет уже тех деревьев, под которыми ухаживал мой отец, – с тоскливой горечью поведал мне как-то один старый человек.

Нет уже тех деревьев, ибо «ВСЕ ПРОХОДИТ», как было написано на перстне царя Соломона. Все – кроме детства. Оно остается в нас пожизненно, потому что если «КТО ТЫ?» – плод взрослой твоей ипостаси, то «КАКОЙ ТЫ?» – творение детства твоего. Ибо корни твои в той земле, по которой ты ползал.

Я везу с ярмарки сокровище, которое не снилось ни королям, ни пиратам. И бережно перебираю золотые слитки воспоминаний о тех, кто одарил меня детством и согрел меня собственным сердцем...

Я не должен был появиться на свет. Я был приговорен, еще не начав жить, родными, близкими, знакомыми и всеми медицинскими светилами города Смоленска. Чохотка, сжигавшая маму, вступила в последнюю стадию, мамины дни были сочтены, и все тихо и твердо настаивали на немедленном прекращении беременности.

А меня так ждали! Войны вырывали мужчин из женских объятий, а в краткие мгновения, когда мужчины возвращались, ожесточение, опасности и стрельба за окном мешали любви и нежности: между мужчиной и женщиной лежал меч, как между Тристаном и Изольдой. Дети рождались неохотно, потому что мужчины не оставались до утра, и женщины робко плакали, провожая их в стылую темень. А смерть меняла одежды куда чаще, чем самая модная модница, прикидываясь сегодня тифом, завтра – случайной пулей, послезавтра – оспой или расстрелом по ошибке. И на все нужны были силы, и на все их хватало. На все – кроме детей. И я забрезжил как долгожданный рассвет после девятилетней ночи.

А маму сжигала чохотка.

И меня, и маму спас один совет. Он был дан тихим голосом и больше походил на просьбу:

– Рожайте, Эля. Роды – великое чудо. Может быть, самое великое из всех чудес.

Через семь лет после этих негромких слов доктор Янсен погиб. Была глухая дождливая осень, серое небо прижалось к земле, и горизонт съехался до размеров переполненного людьми кладбища. Мы с мамой стояли на коленях в холодной грязи, и моя неверующая матушка, дочь принципиального атеиста и легкомысленной язычницы, жена красного командира и большевика, истово молилась, при каждом поклоне падая лбом в мокрую могильную землю. И вокруг, всюду, по всему кладбищу, стояли на коленях простоволосые женщины, дети и мужчины, молясь разным богам на разных языках. А у открытого гроба стоял инвалид – краснознаменец Родион Петров и размахивал единственной рукой с зажатой в кулаке кепкой.

– Вот, прощаемся. Прощаемся. Не будет у нас больше доктора Янсена, смоляне, земляки, родные вы мои. Может, ученых будут, может, умней, а только Янсена не будет. Не будет Янсена...

...О, как я жалею, что я – не живописец! Я бы непременно написал серое небо и мокрое кладбище, и свежеврытую могилу, и калеку-краснознаменца. И – женщин: в черном, на коленях. Православных и католичек, иудеек и мусульманок, лютеранок и староверок, истово религиозных и неистово неверующих – всех, молящихся за упокой души и вечное блажен-

ство не отмеченного ни званиями, ни степенями, ни наградами провинциального доктора Янсена...

Я уже смутно помню этого сутулого худощавого человека, всю жизнь представлявшегося мне стариком. Опираясь о большой зонт, он неутомимо от зари до зари шагал по обширнейшему участку, куда входила и неряшливо застроенная Покровская гора. Это был район бедноты, сюда не ездили извозчики, да у доктора Янсена на них и денег-то не было. А были неутомимые ноги, великое терпение и долг. Неоплатный долг интеллигента перед своим народом. И доктор бродил по доброй четверти губернского города Смоленска без выходных и без праздников, потому что болезни тоже не знали ни праздников, ни выходных, а доктор Янсен сражался за людские жизни. Зимой и летом, в слякоть и выюгу, днем и ночью.

Доктор Янсен смотрел на часы, только когда считал пульс, торопился только к больному и никогда не спешил от него, не отказываясь от морковного чая или чашки цикория, неторопливо и обстоятельно объяснял, как следует ухаживать за больным, и при этом никогда не опаздывал. У входа в дом он долго отряхивал с себя пыль, снег или капли дождя – смотря по сезону, – а войдя, направлялся к печке. Старательно грея гибкие длинные ласковые пальцы, тихо расспрашивал, как началась болезнь, на что жалуется больной и какие меры принимали домашние. И шел к больному, только хорошо прогрел руки. Его прикосновения всегда были приятны, и я до сих пор помню их всей своей кожей.

Врачебный и человеческий авторитет доктора Янсена был выше, чем можно себе вообразить в наше время. Уже прожив жизнь, я смею утверждать, что подобные авторитеты возникают стихийно, сами собой кристаллизуясь в насыщенном растворе людской благодарности. Они достаются людям, которые обладают редчайшим даром жить не для себя, думать не о себе, заботиться не о себе, никогда никого не обманывать и всегда говорить правду, как бы горька она ни была. Такие люди перестают быть только специалистами: людская благодарная молва приписывает им мудрость, граничащую со святостью. И доктор Янсен не избежал этого: у него спрашивали, выдавать ли дочь замуж, покупать ли дом, продавать ли дрова, резать ли козу, мириться ли с женой... Господи, о чем его только не спрашивали! Я не знаю, какой совет давал доктор в каждом отдельном случае, но всех известных ему детей кормили по утрам одинаково: кашами, молоком и черным хлебом. Правда, молоко было иным. Равно как хлеб, вода и детство.

Святость требует мученичества – это не теологический постулат, а логика жизни: человек, при жизни возведенный в ранг святого, уже не волен в своей смерти, если, конечно, этот ореол святости не создан искусственным освещением. Доктор Янсен был святым города Смоленска, а потому и обреченным на особую, мученическую смерть. Нет, не он искал героическую гибель, а героическая гибель искала его.

Тихого, аккуратного, очень скромного и немолодого латыша с самой человеческой и мирной из всех профессий.

Доктор Янсен задохнулся в канализационном колодце, спасая детей. Он знал, что у него мало шансов выбраться оттуда, но не терял времени на подсчет. Внизу были дети, и этим было подсчитано все.

В те времена центр города уже имел канализацию, которая постоянно рвалась, и тогда рылись глубокие колодцы. Над колодцами устанавливался ворот с бадьей, которой откачивали просочившиеся сточные воды. Процедура была длительной, рабочие в одну смену не управлялись, все замирало до утра, и тогда бадьей и воротом завладевали мы. Нет, не в одном катании – стремительном падении, стоя на бадье, и медленном подъеме из тьмы – таилась притягательная сила этого развлечения. Провал в преисподнюю, где нельзя дышать, где воздух перенасыщен метаном, напрямую был связан с недавним прошлым наших отцов, с их риском, их разговорами, их воспоминаниями. Наши отцы прошли не только Гражданскую, но и мировую, «германскую» войну, где применялись реальные отравляющие веще-

ства, газы, от которых гибли, слепли, сходили с ума их товарищи. Названия этих газов – хлор, фосген, хлор-пикрин, иприт – присутствовали и в наших играх, и в разговорах взрослых, и в реальной опасности завтрашних революционных боев. И мы, сдерживая дыхание, с замирающим сердцем летели в смрадные дыры, как в газовую атаку.

Обычно на бадью становился один, а двое вертели ворот. Но однажды решили прокатиться вдвоем, и веревка оборвалась. Доктор Янсен появился, когда возле колодца метались двое пацанов. Отправив их за помощью, доктор тут же спустился в колодец, нашел уже потерявших сознание мальчишек, сумел вытащить одного и, не отдохнув, полез за вторым. Спустился, понял, что еще раз ему уже не подняться, привязал мальчика к обрывку веревки и потерял сознание. Мальчики пришли в себя быстро, но доктора Янсена спасти не удалось.

– Рожайте, Эля.

Так в вонючем колодце погиб последний святой города Смоленска, ценою своей жизни оплатив жизнь двух мальчиков, и меня потрясла не только его смерть, но и его похороны. Весь Смоленск от мала до велика хоронил своего Доктора.

– А дома у него – деревянный топчан и книги, – тихо сказала мама, когда мы вернулись с кладбища. – И больше ничего. Ничего!

В голосе ее звучало благоговение: она говорила о святом, а святость не знает бедности.

Я возвращаюсь с ярмарки, а потому невольно думаю о смерти. Человек создан на столетия, если судить по огромной, ни с чем не сравнимой трате сил. Лев, убив антилопу, в сытой дреме отдыхает сутки. Могучий сохатый после часового боя с соперником полдня отстаивается в чашобе, судорожно поводя проваленными боками. Айтматовский Каранар год копил силы, чтобы буйствовать, неистовствовать и торжествовать полмесяца. Для человека подобные подвиги – блеск мгновения, за который он платит столь малой толикой своих запасов, что вообще не нуждается в отдыхе.

Цель зверя – прожить отпущенный природой срок. Сумма заложенной в нем энергии соотносима с этим сроком, и живое существо тратит не столько, сколько хочется, а столько, сколько надо, будто в нем предусмотрено некое дозирующее устройство: зверю неведомо желание, он существует по закону необходимости. Не потому ли звери и не подозревают, что жизнь конечна?

Жизнь зверя – это время от рождения до смерти; звери живут во времени абсолютном, не ведая, что есть и время относительное. В этом относительном времени может существовать только человек, и поэтому жизнь его никогда не укладывается в даты на могильной плите. Она больше, она вмещает в себя ведомые только ему секунды, которые тянулись, как часы, и сутки, пролетевшие, словно мгновения. И чем выше духовная структура человека, тем больше у него возможностей жить не только в абсолютном, но и в относительном времени, и для меня глобальной сверхзадачей искусства и является его способность продлевать человеческую жизнь, насыщать ее смыслом, учить людей активно существовать и во времени относительном, то есть сомневаться, чувствовать и страдать.

Это – о духовности, но и в обычной, физической жизни человеку отпущено «горючего» заведомо больше, чем нужно для того, чтобы прожить по законам природы. Зачем? С какой целью? Ведь в природе все разумно, все выверено, испытано миллионлетиями, и даже аппендикс, как выяснилось, для чего-то все-таки нужен. А огромный, многократно превышающий потребности запас энергии для чего дан человеку?

Я задал этот вопрос в 5-м или 6-м классе, когда добрал до элементарной физики и решил, что она объясняет все. И она действительно все мне тогда объяснила, кроме человека. А его объяснить не смогла: именно здесь кончалась прямолинейная логика знания и начиналась пугающе многовариантная логика понимания. Я тогда, разумеется, этого не представ-

лял, однако энергетический баланс не сходился, и я спросил отца, зачем-де человеку столько отпущено.

– Для работы.

– Понятно, – сказал я, ничего не понял, но не стал расспрашивать.

Это свойство – соглашаться с собеседником не тогда, когда все понял, а когда ничего не понял, – видимо, заложено во мне от природы. Житейски оно мне всегда мешало, ибо я не вылезал из троек, сочиняя свои теории, гипотезы, а зачастую и законы. Но одна благодатная сторона в этой странности все же была: я запоминал, не понимая, и сам докапывался до ответов. Сейчас уже не столь важно, что чаще всего ответ был неверным: жизнь требует от человека не ответов, а желания искать их.

Я пишу об этом только ради двух слов отца, определивших для меня весь смысл существования. Это стало главной заповедью, символом веры, альфой и омегой моего мировоззрения. И стал я писателем, вероятно, совсем не потому, что рожден был с таким блеском в очах, а потому лишь, что свято веровал в необходимость упорного, ежедневного, иступленного труда.

Пояснив однажды смысл жизни, отец никогда более не возвращался к этой теме. Он восторгался закатом или мелодией, тишиной или книгой, человеческим поступком или человеческим гением искренне и безгрешно. Странно было видеть затаенного в кавалерийскую портупею, увешанного оружием командира, с юношеским пылом декламировавшего в центре Блонья: «Ты скажешь: ветренная Геба, кормя Зевесова орла, громокипящий кубок с неба, смеясь, на землю пролила!...»

У красного командира, контуженного немцами и раненного белоказаками, восторженно горят глаза, а голос дрожит от сдерживаемых рыданий. Смешно? Вероятно, и смешно, и нелепо до крайности, но у слушателя – круглоголового, круглоглазого и круглоухого – бегут мурашки по коже. Пока – от чужого восторга перед всемогуществом человека, завтра – от собственного. Важно посеять этот восторг. Найти время, чистое сердце и добрые семена.

А вот о необходимости труда, о его красоте, чудодейственной силе и магических свойствах не говорилось никогда. О работе болтают бездельники: нормальные люди ее делают. Старательно, четко, аккуратно и скромно. Ведь работать, не крича о собственном трудовом рвении, столь же естественно, как есть не чавкая.

Порой мне с удивительной ясностью вспоминаются вечера моего раннего детства. Наша большая даже по тем временам семья – двое детей, мама, бабушка, тетя, ее дочь и кто-то еще – жила на паек отца и на его более чем скромную командирскую зарплату в тесном домике на Покровской горе, где ни у кого не было своей комнаты и никто, кроме меня, не спал в одиночестве. При домишке был огород, которым занимались все, потому что речь шла о хлебе насущном, и я знаю, как горят ладони, обожженные свежевыполотой травой, с того трепетного возраста, которому уступают места в метро даже мужчины.

Так вот, о вечерах. Осенних или зимних, с бесконечными сумерками и желтым кругом керосиновой лампы. Отец сапожничают, столярничают или слесарничают, восстанавливая и латая; мать и тетя тоже латают, штопают или перешивают; бабушка, как правило, тихо поскрипывает ручной мельницей, размалывая льняной или конопляный жмых, который добавляют в кулеш, оладьи или лепешки, потому что хлеба не хватает; сестры – Галя и Оля – попеременно читают вслух, а я играю тут же, стараясь не шуметь. Это обычный вечерний отдых, и никто из нас и не подозревает, что можно развалиться в кресле, вытянув ноги и, ничем не утруждая ни единую клеточку собственного мозга, часами глядеть в полированный ящик на чужую жизнь, будто в замочную скважину. Для всех нас искусство – не только в процессе производства, но и в процессе потребления – серьезный, истари особо уважаемый труд, и мы еще не представляем, что литературу можно воспринимать глазами, зевая, закусывая, выпивая, болтая с соседкой. Мы еще с благоговением воспринимаем СЛОВО, для нас

еще не существует понятия «отдых» в смысле абсолютного безделья, и человек, который не трудится, заведомо воспринимается с отрицательным знаком, если он здоров и психически полноценен.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.